

ДМИТРИЙ ЗУЕВ



СИНДРОМЫ

РАССКАЗЫ

МАТ

Ступая в сторону центра, исчезнув с платформы автовокзала, я ни разу не обернулся назад, не посмотрел через плечо. Как он выглядит, автовокзал Оренбурга, чёрт его знает. Помню только: узкая мёрзлая дорожка вела вдоль бетонной стены, ну, парапета что ли, к Дому Советов. А за стеной виден парк. Голые ветки торчали над головой. Состояние моё в те моменты было — не описать. Только что руками показать — крестом складываем на грудь и закрываем глаза. Я не приехал в город. Я пил в привокзальной пивнухе, единственном круглосуточном кабаке вблизи чулочной фабрики. Мне с похмелья нужно много разливного пива.

Ходил я по городу часа три. Потом звоню единственной знакомой в этой дыре, родной, то есть, тётке. Платить за комнату нужно было ещё неделю назад. Денег в кармане шиш да ни шиша. Четыре дня, как я уволился из мастерской садовой скульптуры, располагающейся в цеху неработающей чулочной фабрики, и мысли мои лишь о том, что я неудачник. Тётка моя должна была сразу и вдруг исправить ситуацию.

Знал я, водился за старухой в годы моего студенчества грешок — страсть казаться благодетельницей. Моя родная бабка попёрла из дома супруга, отчима дочерей своих. А тётка бедолагу пустила к себе, на передержку перед домом богоугодным.

ЗУЕВ Дмитрий Дмитриевич родился в 1986 году на Ямале. Учился в Оренбургском государственном педагогическом университете на кафедре теории и истории культуры. Работает в газете «Ваши новости», готовит материалы о культуре и большие интервью. Живёт в Москве.

В том сентябре, десятью годами раньше в Оренбурге было необычайно холодно. Усни кто-нибудь в такую погоду ночью на улице — замёрз бы на-смерть. Я уже не говорю о старике. Так что тётка приглашала деда домой, думая спасти ему жизнь.

Тут надо сказать, как и во всей России, в Оренбурге стариков сразу на улицу выгонять не принято. Но отпрыскам деда моего и не пришлось. “Баба поёрла — сам с приёмными детьми разбирайся, а родных ты сам бросил тридцать лет назад. И что же, что все тридцать лет, как собака, по чужим дворам шляется без корысти? Что же, что плотник, и сыновьям три дома собрал? А в душу плюнул матери-то, и гуляй теперь!” А куда гулять? Видели вы дома престарелых в России? Я опишу. Исключительно сам, проведя там месяц, узнал, что к чему.

Дом для стариков в Оренбурге сросся с хосписом для тихих душевнобольных. И что к чему изначально присоединили — никому не понятно. Потому и закон, и распорядок, и атмосфера в этом двухэтажном старинном доме — особые.

Низкие, но толстые стены, обносящие квартал больничных двухэтажных построек. В проталинах штукатурки виднеется старинный красный кирпич. Такая мощная, но не практичная архитектурная улика говорит об одном — было там при царе училище, ведомство.

Коридор корпуса № 2 держит дурной спёртый воздух. Прохлада склепа, запах иссохшихся тел, тошнотных лекарств, столовской пищи. Время от времени где-то за стенами санитары кричат на психа, закрывшегося в туалете. Или жующего больничные цветы. В палате деда — четыре кровати, металлический столик, на столике — стаканчики для пилюль, цветов в горшке — круглые листья на тонких стеблях.

Одну кровать успел занять сам дед. У входа, на соседней — мальчик Андрюша, всё тело которого неизреченно плавно и бессмысленно двигается. Мастера пантомимы тренировались бы годами, чтобы развить в себе такие способности, умение с такой пластикой и математической случайностью двигать руками и ногами. Андрюша — всего лишь позволил укусить себя энцефалитному клещу несколько лет назад.

В комнате ещё две кровати — у противоположной стены. На первой сидит сухой трясующийся старик в чёрной фетровой шляпе. На второй — тоже старик в фетровой шляпе, но этот явно помладше, и головной убор его серого цвета. Двух похожих стариков вечером должны расселить в разные комнаты.

В первый свой визит я, брезгливо помявшись, сел на постель, покрытую жёлтыми пятнами, какие остаются на бумаге от клея “Момент”. Я выкладывал гостинцы от тётки, и рассуждал вслух с фальшивым участием, какого не умеют избегать в голосе посетители больницы: “За что же их расселяют?”

— Аьээй! — крикнул отзывчивый, готовый к откровенной беседе Андрюша. Я посмотрел на него. Он корчил странные рожи, и гримасы эти делали его похожим на талантливую актёра. Я не из жалости, а из интереса решил побеседовать с парнем.

— Яблоко! Вкусно! Хочешь попробовать яблоко?

Андрюша куриным движением скрюченной руки замахал в сторону тумбочки.

— Тумбочка, да! Тумбочка.

— Залезь туда, — сказал дед. — Он с тобой в шахматы поиграть хочет. Андрюшка — февраль. Смьшлённый. Только не хватает у него чего-то в голове.

Третья партия шла к концу. Играли мы в “быструю”. Но играли медленно, так как Андрей долго метился фигурами в клетки. Я сидел на смятой постели и злился, не понимая, как может он обставлять меня так грамотно. Уходя, я обещался заглянуть в палату № 4 и на следующий день. Больница не понравилась мне сразу. Но тщеславие лучшего шахматиста университета не давало покоя.

Дед никогда не умел общаться с сопляками. Симпатию его вызывали лишь годовалые дети. Увидев меня накануне, он подозрительно неподдельно радовался. Позже, когда он обратился с величайшей просьбой всех времён

и наций, я понял, в чём дело. Но как я мог отказать ему? Назавтра я прошёл через коридор, мимо сестринской, грея во внутреннем кармане бутылку дешёвой водки. Дед пил, наливая её в мутный гранёный стакан. А я проигрывал Андрею и мысленно вымещал злобу на старике: нашёл безотказного ходока!

Мы не готовы столкнуться с чудом. И ещё меньше готовы с ним жить. Жизнь моя превратилась в оголённый провод ЛЭП. По ночам я разучивал комбинации по старому учебнику для шахматистов. А утром снова и снова шёл в продуктовый магазин на окраинной улице 60 лет Октября, покупал водку, банку кока-колы и, изображая из себя заботливого внука, сворачивал с проспекта Гагарина, к Форштадту.

Я который день прогуливал пары в своём институте, но снова и снова топал большими шагами под горку к Уралу, миновал проходную дома престарелых, пересекал больничный двор и проскакивал мимо сестринской по коридору, заваленному матрацами, в палату с табличкой “№ 4”.

Андрей ликовал.

— Аэт! Аэт! — кричал он, дождавшись, пока я просчитаю все ходы и сам пойму своё поражение.

Дед пил. Оставшийся теперь один старик в фетровой шляпе смотрел в пустоту и трясся себе. Время шло лениво и просто, как в поезде. Через какое-то время богдельня опротивела мне так, что я готов был ужокошить несчастного калеку.

Мой сводный родственник был хитёр. Боясь потерять своего адъютанта, он стал травить байки.

— То были сын с отцом, — он не стеснялся трясущегося старика. — Этот озверин по молодости умудрился так накуролесить, что сынок с ним и дня спокойно прожить не может. Заходит. Сидят, молчат. А как вместе их селят, к вечеру на бадиках драться начинают.

Я не мог сосредоточиться. Меня стала раздражать каждая мелочь больничной палаты: помазок в стакане, сверкающая, как иней, седая щетина старика, сало в банке, вездесущий запах мазей. Я не мог свести дело даже к ничьей. И вот в один прекрасный день, отчаявшись выиграть у Андриюши в шахматы, я сделал вид, что обижен. и не взял у деда денег на очередную бутылку.

То был четверг. Я впервые в жизни серьёзно надрезал свою совесть и, проснувшись утром, не нашёл сил встать и выйти из дому. Я лежал в кровати и смотрел на стрелки часов. Они показывали время, какое я видел в последний месяц только на больничных часах. Приступ лени повторился со мной и на следующее утро, и через утро. Свобода превыше ложных терзаний совести, всё думал я. Жизнь пошла своим чередом: учёба, будни, праздники.

Через шесть месяцев дед умер. Благодетельная тётка пошла за вещами несчастного старика. Забрала помазок, банку с салом. Я в больницу не поехал. Дед ведь был мне не родной, нечего сказать.

Подготовив семинар, я включил телевизор и сел на диван. Меня не покидало чувство, что я забыл что-то важное. Тётка вернулась. Поставила полупустой пакет в кладовку, села рядом с телефонным столиком и сказала:

— Привет тебе!

Я не понял.

— Андрей ждёт, когда ты принесёшь ему кока-колы, и передаёт большой привет. “Аэт! Аэт!” — кричит.

“Ну, мат, мат!” — так и не пришёл сказать я.

НА ОСТРОВАХ И В КАБИНЕТАХ

Клубы дыма скрыли письменный стол. Солнце вышло на западную сторону поликлиники и неприятно осветило стену. Полоса, разрезающая белые завитки, будто запечатлела сечение человеческого мозга, что сильно подходило к духу заведения.

На всех производила сильное впечатление новая трубка Генрика Францевича — и даже на самого Генрика Францевича: он к ней ещё не привык.

Мундштук трубки чёрный, цоколь — вишнёвый, а соединяет их стальное кольцо со следами реза. Разглядывая эту вещь, Николай Анатольевич совсем упустил суть разговора. Он вообще не мог расслабиться в присутствии Генрика. Их пятидесятилетия казались ему совершенно разными. При одинаковых сединах, доктор выглядел старше по уму, манерам и — самое главное — отчеству, которое обеспечивало его туманной биографией.

Не зная, как ответить на вопрос, Николай решил, что в этой ситуации делать серьёзное лицо — несколько подозрительно. Он, приняв как бы насмешливую позу, закинул одну ногу на другую и посмотрел вверх. Там висела деревянная табличка с большой медалью, отливающей свадебным шрифтом.

Доктор поправил белый халат и продолжил:

— Двадцать три. Девятнадцать. Тридцать. Что вы чувствуете, слыша эти числа?

Тут явно можно было вляпаться в какую-то фрейдистскую ерунду, и Николай ответил неторопливо:

— Ничего, что бы вам хотелось услышать. Я на эти трюки не попадусь.

— А что это за трюки? — осведомился доктор.

— Похабщина всякая, как пить дать.

Генрик начал писать, приподняв несколько листов от стопки бумаг.

— Какая похабщина?

— А вы ещё что-то разве исследуете? Весь мир видите в просвет между ног. А думать надо о другом.

— О чём же? — спросил доктор.

Николай вспылил:

— Зачем вы записываете ответы, на которые сами меня выводите?

Врач снова сделал пометку и перешёл к новой теме:

— Ваш тест Сонди и ваш тест Люшера вчера показали, что у вас вполне очевидное стремление, о котором вы мне не говорите, Николай Анатольевич.

На первом приёме Николай постеснялся курить свои плохие сигаретки и сделал вид, что забыл их в машине. Но сегодня он был готов к битве. Достав из внутреннего кармана сигару, удивительно похожую на авторучку, он приподнялся со своего кресла.

— Не надо. Я сам, — сказал Генрик и дал знак, что сам поправит жалюзи.

Николай кивнул в благодарность.

— Так не скажете?

Пациент покачал головой. Доктор разочарованно вздохнул:

— Вы знаете синдром Лесото-Строевой?

— Что-то слышал, — сухо сказал Николай.

— В 1999 году лайнер Jutting 120 Leftward летел из Парижа в Сидней. Над Карроновым архипелагом у них начались проблемы с фюзеляжем. В корпусе образовалась брешь, и люди посыпались в океан, как зубочистки. Трое из них упали в воду недалеко от безымянных островов: страхового агента Марион Лесото — на одном, зоолога Сахо Строевая и студент Пент Шари — на другом. Мальчишка погиб через сутки, не приходя в сознание. Помимо двух этих счастливиц, в лагуне и на островах оказалось множество полезных вещей. Рейс был наполовину коммерческий. Из ворсистых пальм и песка тут и там торчали ледовые коньки Lijtif, и, как на заднем дворе женского общежития, всюду летали тесты на беременность Fraudulent, а ещё острова бомбардировали сто двадцать коробок с романом постмодерниста Тима Корсби “Эскапады”. Женщин нашли спустя пять лет. Сначала Строевую, а три дня спустя и её соседку. Зоолог сошла с ума. Когда её обнаружили, она не поняла, что пришли за ней, и читала наизусть тысячестраничный роман, сидя в будке, построенной из книг. Лесото, напротив, заметно постарела, но была в отличной психической форме. Она роман не прочитала ни разу. На вопрос: “Почему?” — лишь удивилась и ответила: “У меня не было времени на такие глупости, мне ведь приходилось выживать”. О чём это свидетельствует?

— О том, что роман не слишком удался?

— Он действительно провалился в продаже. Понравился только Пинчону. Но Пинчону не приходилось сидеть в одиночку на острове почти две тысячи дней.

— Так о чём же это свидетельствует?

— О том, что в ситуации, когда объект культуры изъят из контекста, он меняет свойства. Это бывает и с людьми. Вам кажется, что жизнь не имеет смысла именно по этой причине. Нужно принять действительность такой, какая она есть. Все принимают, — или дело кончается плохо. Заметьте, в этой истории обе женщины выжили. Лесото сохранила трезвый ум, но совершенно измотала себя нагрузками. А вот Строевая выглядела неплохо, хоть и потеряла рассудок.

— Неужели она обезумела из-за книжки? — спросил Николай.

— Из-за книжки? Нет, — сказал Генрик.

— Из-за чего же?

— Тут не обошлось без скандала. Когда её спасали, она без конца твердила о каком-то мальчике, который должен прийти вечером. Сначала все подумали, что она вспоминает своего ребёнка в Париже. Но выяснилось, что у них с мужем нет детей. Марк Строевой сделал вазэктомия в 1995 году. Как же удивились врачи, когда увидели шрамы от разрывов. Обследование показало: она родила на острове. Ребенок получался гражданином Франции по французским законам. Его отправились искать. И что вы думаете? Нашли подобие игрушек из скорлупы кокоса в этой книжной хижине. Дело не кончилось и этим. Утром спасатели вышли из экспедиционной палатки и увидели лодку недалеко от воды. Рядом на берегу стоял Калибан во всей красе. Шоколадный дикарь, веко со шрамом. А с ним — красивый мальчишка с голубыми глазами.

— Ну, надо же! — Сказал Николай.

— Я вам таких историй миллион придумаю, только бы вы не грустили, — сказал Генрик и подвинул исписанную стопку бумаги, — Все депресии из-за чего? Из-за того, что мы не знаем, как живут другие люди.

ДО ПЯТНИЦЫ

Утром я видел в окно зелёный лес, который стонал на ветру, пронизанном нитями дождя, а вечером пошёл снег. Твёрдые мошки его пересыпали мокрые ветки, прилипали к огрубевшим листьям и тянули их к земле. Из окна открывался слишком обширный вид. Моё воображение не требовало такого сложного пейзажа. Я искал взглядом, за что можно зацепиться, но пространство уводило меня всё дальше и дальше, за горизонт, куда мне не хотелось проникать. Вдали, за обводной магистралью, противились ветру четыре худосочные мачты связи. Они лишь рождали во мне беспокойство, похожие на куб без верхних граней. Казалось, они уступят мокряди, сломятся, и пропадёт в посёлке вся связь.

В пятницу общежитие опустело. Мы открыли дверь и, вдохнув сырой воздух, выбрались из комнаты, потирая животы. В обычно бурлящем коридоре никто не выставил грязные сапоги и не рубил коровью ногу. Володя закрыл номер, когда я был уже на лестнице.

Я держал на руках мангал. Дно его прогибалось под весом тяжёлой кастрюли. Когда я присел в вестибюле на лавочку, чтобы перевести дух, Володя в своей телогрейке выскочил из арки, уставленной разнообразными комнатными цветами, и вцепился в моё плечо.

— Я люблю эти дни, слышишь? Когда в общежитии тихо, даже вахтёрши нет на месте. Напоминает школу в выходные, когда никто не даёт никаких заданий.

Когда я зашнуровывал ботинки, глядя на фальшивый мрамор, квадраты которого мостили пол общежития, Володя стоял у вахты. Он наклонился к окошку, сунул ключи от номера и сказал:

— Поменяйте нам подушки, наконец. Нас не будет часа три, будьте добры, сделайте нам приятно. Между прочим, мы работаем, чтобы всем нам

приходили деньги вовремя. В ваших интересах, чтобы нам спалось спокойно. А то нажмём не ту кнопку, и плакали ваши денежки.

Вахтёрша повесила ключ в деревянную коробку и не сказала ни слова.

Сухой снег двигался по бетону и шуршал в траве, как небесная крупа. Мы обошли дом по тропинке, я поставил мангал на островок вскрывшегося из-под снега песка. Был август, и после затянувшегося лета наступала зима. За нашим домом автомобили проезжали по сырой дороге, поднимая клубы бриллиантовой пыли в воздух.

В понедельник в дополнительном офисе банка посёлка Седа-Сале мы сидели каждый за своей стойкой и принимали стопки паспортов. С крыши свисала прозрачными, стеклянными бусами дождевая штора.

— Эх, сейчас бы пятницу, — сказал Володя и шлепнул тяжёлой печатью на лист.

— Да, сейчас бы пятницу, — сказал я и проделал в договоре отверстия дыроколом.

— Давай будем каждый день приближаться к нашей цели. Завтра купим мясо. В среду разморозим его, в четверг — замаринуем, а в пятницу ты выпьешь, и будем мариновать!

— Как здорово выпить, когда маринуешь, это правда! — подтвердил я.

Володя протянул мне синий украинский паспорт несчастного работника:

— Смотри, ну и фамилия. Иван Дикий! И отчества нет. Наверное, сирота.

Парень с рыжими бровями и бородой по ту сторону стекла навис над стойкой, недобро хмыкнул и сказал:

— Точно, из детдома. У нас там каждый третий был Дикий. Ни тётки, ни дядьки. Дикие мы.

Во вторник в отделение привезли валюту. Инкассатор с коротким автоматом наперевес прошёл через операционный зал, втиснулся в хранилище и сдал мешки кассирше. Через бронированное стекло я увидел, как он взял её за мочку уха и поцеловал в темя. Стекло не пропускало звуки, но дело было ясное.

День подошёл к концу. Народ рассосался. Володя опустил ставни на окнах и сказал:

— Скорей бы пятница. Пожарим шашлыки прямо у общежития. Ох, как пожарим!

— Да-а-а-а, — сказал я.

Инкассатор вошёл в операционный зал в халате и с чашкой в руке. Он помахал рукой перед камерой видеонаблюдения и сказал:

— Пойдём вечером в баню автобазы?

— Сегодня нужно побережь силы, — ответил за нас обоих Володя. — Мы в пятницу пожарим шашлыки и выпьем водки.

В четверг инкассатор вышел из офиса, сел в бронированную машину и уехал в город. Володя чувствовал себя виноватым, потому что я любил ходить в баню автобазы.

— Ничего. Скоро наедемся шашлыков, напьёмся, замёрзнем, поднимемся в номер и будем смотреть глупые передачи. Всё, как ты любишь, дружище! — сказал он.

Весь вечер я резал мясо, разбавлял укеус и шинковал лук кольцами.

Следующим днём мы вышли из общежития, спустились по арматурным ступеням. Шёл дождь из высокого козьего пуха. Небо накрыло нас шерстяным пледом. Мы подошли к складскому зданию. На ржавом каркасе его, высоко на балке сидел рабочий, летели вниз искры сварки.

Володя закашлял, как старый пёс.

— А ну-ка, фу! — крикнул на него я, и он рассмеялся, ещё сильнее из-за этого начав дохать.

— Ты бы, Володя, кончал жрать. Сопишь, как паровоз. Одышка, кашель. Это уже не смешно.

— Ты на этой неделе отказался ради меня от бани, друг, — не обращая внимания на мои слова, сказал он.

Я положил на дно мангала газету и прижал её книгой, а Володя отправился в магазин. Я пошёл в сторону мусорки, отломил от строительной катушки доску, покрытую трафаретными цифрами.

Вскоре потемнело, похолодало, и изо рта пошёл пар. Бульдозер гремел ковшом о дорогу, как пирамидоголовый. Вдоль трассы по рельсам проползла дрезина. Потом подул ветер со стороны помойки, и запах шашлыков смешался с вонью. Костёр потух. На углях образовался белый налёт. Володя взял холодный кусок шашлыка и сказал:

— Хорошо.

Труба котельной над его головой выдавила маслянистый дым. Чёрные клубы двинули столб вверх, и оттаявший воздух стал ещё немного плотнее. Провода кондиционеров висели на стенах хромосомными парами. Пушистая собака пробежала мимо, забралась всеми четырьмя лапами на маленькую кочку и начала лаять.

Мы убрали остатки мяса в протёртую кастрюлю. Я допил из горлышка остатки первой бутылки, подумал и сказал:

— Нам поменяли подушки, Володя. Спасибо тебе.

— Пожалуйста. Жизнь одна, нужно жить удобно.

— Да. Нужно жить! — сказал я.

Он явно был доволен. Взял у меня бутылку, кинул её в сторону мусорных баков и, услышав стеклянный взрыв, сказал:

— Эх, скорей бы пятница.

У ГОРОДА ЗА ПАЗУХОЙ

Трудовая книжка — занятная вещь. Моя напоминает эту цифровую змейку из игры “Snake”. Она ползёт, съедает однодневные и многодневные, высоко или смехотворно оплачиваемые работы и становится больше. Работу в банке я бы сравнил, по отдалённой аллюзии на Нью-Йорк, с яблоком; месяц в секс-шопе — например, банан, а три дня электриком в заснеженную зиму 2008-го — пожалуй, груша. Появлялись в моей игре и необычные продукты: бутылка с молоком.

Но неспроста я вспомнил про змей.

Смена рабочего молочной кухни заканчивается в обед. И обычно, несмотря на то, что здание этой кормящей титьки района пристроили к торцу моего дома, торопиться домой мне не хочется.

Вот и тем жарким июньским днём я налил в стакан из кофе-шопа новый кофе, закрыл его крышкой и сел на руинах нашего крыльца. Сосед Толя сидел с ножом в руках у расщелины меж двух ступеней с другого конца подиума, на котором возвышалась молочная кухня.

Этому Толе исполнилось уже лет двадцать, но никто во дворе с ним не общался: ни в одной из двух школ района он не учился и в детстве подолгу пропадал. Как недоразвитого его на весь учебный год отправляли в школу-интернат для идиотов, откуда он вернулся уже с такой же странной женой. Они были идеальной парой, но Толя любил проводить время один.

Любой блатной бы позавидовал тому, как он красиво умел сидеть на корточках. К тому же в таком положении он незаметно двигался, как птица, вбок.

— Что это? — спросил он, и только тогда я заметил, что дурачок склонился надо мной, как повешенный. На солнце бликовала его лысеющая макушка.

— Это кофе, Толик, кофе в картонном стакане. Главное изобретение человечества.

Он почесал ногу лезвием. Я признал нож, который подарил ему мой брат, вспомнил про Костю и отдал любопытному бедолаге стакан. Он потянул войлочные брюки за колени и сел рядом. Повертев зелёную картонку в руке, без улыбки вспорол её.

— Зачем ты его разрезал? — спросил я.

— Посмотреть хотел, что внутри, — серьёзно ответил он.

— А почему не открыл крышку?

— Если открыть, то это не внутри, — сказал он. — Это сверху. Чтобы внутри, надо разломать. Пока не разрежешь, не увидишь. Там в ступенях живёт уж.

— Змея?

— Угу, — сказал он, — пьёт молоко вон там, а днем выползает на ступени.

— Откуда он здесь взялся?

— Я привёз, с Ростошей, — ответил Толик и, сложив ножик, убрал в карман.

Давайте сделаем так: сначала я скажу, что меня волнует на самом деле. Когда мы все умрём, кто будет разбирать эти кучи обнажённых снимков на наших компьютерах? Кто удалит переписку из наших мессенджеров? Хочу ли я, чтобы через неделю после моей смерти моя гипотетическая старая жена увидела, наконец, кому я слал любовные сообщения всю нашу жизнь? Или даже если представить идеальный мир, где мы будем жить с ней долго, счастливо и без измен, нужно ли, чтобы после нашей одновременной совместной кончины внуки оценили свою голую бабушку образца тридцатилетней давности: груди со следами от купальника скатились в бритые подмышки с намёком на щетину. Она умиротворённо смотрит на кого-то по ту сторону объектива, на кого — не имеет теперь никакого значения, это взгляд одного времени на другое время.

Может быть, удалить все наши тайные снимки? Но когда заняться этим? Прямо сейчас, вместо чтения этой истории? Или когда вам исполнится сорок лет? Или гораздо логичнее будет сделать это в шестьдесят? Удалить в шестьдесят лет эти единственные драгоценные свидетельства нашей молодости? Надеюсь, что к старости я не превращусь в человека, который каждый раз, когда прихватит сердце, бежит стирать с жёсткого диска фотографии.

Кроме того, с течением времени снимки приобретают необыкновенную ценность. Только что сделанную фотографию можно безболезненно удалить, как неправильный узел на вязаном свитере. Но что если этот узел пропадёт на свитере, который носил когда-то ваш любимый человек? Это равносильно ампутации.

Костя не успел удалить фотографии с компьютера. Там было и порно, которое мне никогда не доводилось видеть. Я знал, что богатая фантазия — это у нас семейное. И ведь хорошая фантазия не может останавливаться, подбравшись к порогу эротического. Но чужие сексуальные фантазии, упрощённые до порнороликов, которые удалось найти в интернете, вещь очень трогательная и неприятная одновременно.

У Кости и девушки-то толком не было. Он почти всё время проводил со своими аквариумами. Чистил их, мыл, менял трубки, сыпал в воду какие-то специальные соли. Он разводил аквариумных рыбок на продажу, так как на работу устроиться никуда не мог. В детстве рыбки стали его спасением, но в 2000-е, когда бизнесы росли, как плюхнутые в украинский чернозём семечки, Костя заработал неожиданно для себя приличные деньги. Мы жили хорошо. У нас были компьютеры, хорошая одежда, сотовые. Но так как у меня инвалидности не было, а трудовой стаж никто не отменял, мне пришлось устроиться хоть на какую-то работу, главное — как можно ближе к дому, чтобы в случае чего добежать до квартиры.

Рабочий день в молочной кухне начинается рано. И к моменту, когда сердобольные бабушки и заспанные отцы выстроятся на разрушенных до арматуры и гравия ступенях, всё самое интересное тут уже заканчивается.

Самое волнительное мероприятие — включать здесь свет. Я прохожу по длинному коридору и щёлкаю один за другим длинный ряд выключателей. Лампы дневного света мерцают, щёлкают. Пока самая сонная лампа приходит в себя, я уже успеваю сменить джинсы и свитер на синий комбинезон в белых кружочках хлорки. И иду забирать бидоны из помывочной.

Какой-то рикошет недугов брата, судя по всему, отлетел и в меня. Мне трудно бывает выстроить в голове связь между событиями и задачами. Всё,

что мне приходится делать, вызывает у меня тревогу и отчуждение. Даже самые простые вещи мне приходится делать по моим тайным алгоритмам. Я всегда запоминаю, сколько мест мне нужно помыть в душе (ноги, руки, два интимных места, зубы, голову, подмышки), сколько у меня с собой вещей (ключи, деньги, карта, телефон, паспорт). Если я задумался, разговаривая с вами, значит, мысленно проверяю, всё ли на своих местах.

И в этом отношении работа на молочной кухне проста. Надев комбинезон, я натягиваю сабо с металлическим носком, которые берегут пальцы ног от тяжёлых бидонов, и обёртываю вокруг пояса атлетический пояс с фальшивой эмблемой чемпиона.

Пояс становится лучшим другом, когда перетаскиваешь ящики пустых бутылок из помывочной к автоклаву, то есть к стерилизатору паровому — небольшому металлическому шкафу, напоминающему сейф из диснеевских мультфильмов про Скруджа. Трудно представить, сколько в этот сейф из нержавеющей стали может уместиться бутылок. Когда штурвал кремальеры проворачивается до щелчка, наступает время шугать котов.

Цистерна с молоком приезжает в пять утра. Но ещё перетаскивая бидоны к хозяйственному выходу, я слышу, как бунтуют на улице блудные дети окраины. Если бы Фрейд родился не в благословенной Европе, а где-то на африканском континенте, то вполне вероятно, что главенствующим инстинктом всего сущего он назвал бы не либидо, а голод. Во всяком случае, разноцветные бомжеватые коты, умудрённые опытом, Варфоломеевскими собачьими ночами и людьми, в пять утра у молочной кухни, ожидая подтекающего из рукава молока, орут гораздо громче, чем в марте. Их нужно шугать.

Подъезжает “ЗИЛ” с жёлтой цистерной и трафаретной надписью “МО-ЛОКО”. Вылезает водитель, вытаскивает грубый, потёртый с виду шланг с железным набалдашником и наполняет мои десять бидонов. Молоко подтекает из трещины в холщовом шланге и льётся на асфальтовую кочку, растекаясь во все стороны. Самые дерзкие подбегают и лижут асфальт, не дождавшись, пока исчезнет с края последний бидон и закроется железная дверь хозяйственного входа.

Когда он исчез, вещи в комнате провозгласили надо мной свою грубую власть. Я не решался трогать их, не решался включать музыку, телефонный звонок был для меня событием.

Стена пересохших аквариумов оберегала мой сон, но напоминала о нём. Я разбирал его фото. Это смешно, но он фотографировал ноги жены Толика. Как сложно создан самый добрый человек. Костя подарил ему перочинный нож, общался с ним, как с равным, но это не мешало ему подсматривать, когда она поднималась на наш общий пятый этаж, шагая перед ним по лестнице.

Невозможно удалить их. По утерянным фотографиям всегда испытываешь фантомные боли. Сохранившиеся снимки не дают покоя мёртвым, удалённые не дают покоя живым. Я помню удалённые снимки, подобно тому, как помню несуществующие, прочитанные во сне книги.

Не делать этих снимков вовсе? Представьте ситуацию: у вас есть фотоаппарат, есть красивая женщина, бутылка пьяного вина, уютный интерьер, молодость, вдохновение. Вы не делаете фото в таких обстоятельствах? Что ж, я завидую вашей выдержке. С такой выдержкой ничего хорошего не сфотографируешь.

Но когда же, когда же разобраться с этим архивом? Ведь есть такие интимные дела, которые и душеприказчику не поверишь перед смертью. Кругом только эта смерть, все дороги ведут к ней. Смерть — чёрный клубок, к которому тянутся и в который сплетаются миллиарды человеческих жизней. Там они бьются в небесном броуновском движении.

Стук-стук-стук — послышалось этим утром за автоклавом.

Молоко лилось на кочку, и коты со всей округи тянулись к зданию по тёмному городу. Они крутились возле цистерны, как возле огромного аквариума.

Стук-стук-стук. Но это не коты, не сабо и не автоклав. Что-то билось у стены. Я моментально догадался, что это она, вошёл в помывочную, вытаспил

запасной бидон, задевая его металлическими носками обуви, и опрокинул горловиной к углу. Она затихла. Глаза автоматически искали, чем можно схватить гадину, в голове суетились воспоминания о том, точно ли не ядовиты ужи.

Среди ветхих полотенец ни одно не показалось надёжным, а стук возобновился и к нему добавилось мяуканье. Дверь хозяйственного крыльца оказалась открытой, и по коридору вышагивал параболой усатый Робин Гуд.

Попытка напугать его ни к чему не привела, в моём комбинезоне и клоунских металлических сланцах, видимо, было что-то несерьёзное, так что бело-серый кот не обратил на меня внимания и нырнул через решётку в зал готовой продукции. Пока я ходил за ключами на вахту и решал, смогу ли объяснить, почему открыт опечатанный шкафчик, в кухне что-то грохнулось ещё сильнее.

Шкафчик открывать не пришлось: когда я вошёл в зал с обувным ковриком в руках, они гипнотизировали друг друга. Движения кошачьего хвоста повторяли медленные волнения всего ужа. Битва была недолгой. Кот полоснул лапой воздух в сантиметре от глаз противника, я бросился с полотенцем на змею, кот снова полоснул лапой, на этот раз мне по носу. Под мою ругань нога в сабо поехала по кафелю и врезалась в бидон, тот медленно завалился и ударил открывшейся крышкой по полу, молоко полилось большими глотками на кафель, и в этом наводнении, соединившем впервые за всю историю Земли два мифа — о Великом потопе и Рае с молочными реками — мы выкарабкались втроём в сторону кисломолочного отдела.

Я смотрю на аквариумы каждый день. И не могу отделаться от мысли, что Костя умер. Он не планировал умирать, но это случилось. Не то чтобы он этого не ожидал. Напротив, анорексичка с косой всегда была рядом с ним, как сексот, как надпись спонсора на спортивной форме.

Из наших окон спальный район советского южного города тянется во все стороны, сколько видно глазу. И я не помню, как мы догадались, что в проём меж двумя свечками виден кусок дальней-дальней степи. Кажется, мы нашли той весной на свалке две телефонные трубки с трёхдельными проводами. Если соединить их через батарейку, будет телефон. Костя вылез в окно и прибил провод к верхней раме своей комнаты. Ему запрещали высовываться в окна, но до нужной высоты доставал только один из нас. Поэтому он проделал то же самое для меня.

— Ты знаешь, придурь, что там видно из твоего окна? — сказал Костя, как умел говорить только он, грубо, но не обидно.

— Что? — спросил я в надежде, что он увидел там богиню красоты и демонстрации себя несовершеннолетним.

— Это кусочек Ростостей. Представляешь, если выйти в поле с дач, то оттуда можно увидеть наше окно!

Эта мысль заинтриговала нас больше, чем любая соседка. Мы залезали по очереди и вместе на окно моей комнаты и смотрели на короткую белую полосу. Вскоре в полях стоял снег, и она из белой превратилась в жёлтую. Почему-то нам казалась такой волнительной возможность наблюдать за этим скрытым по задумке городского бога куском пригорода. Соседи и прохожие глядели на нас и, наверное, думали, что мы совсем стебанулись и загораем таким необычным способом или представляем себя монтажниками-высотниками из фильма.

Из-за этого открытия летом я неожиданно для родителей запросился с отцом на дачу, а Костя остался в городе с мамой. Ночами, когда удавалось притвориться спящим на шезлонге, я убегал из садового товарищества, прихватив с собой рыбацкий фонарь и аккумулятор, который крепился к поясу с помощью маленькой сумки. За всё это мне, конечно, влетело бы. Но в назначенный час я ходил по полю, зажигая лампочку каждые десять шагов.

Где-то в городе Костя доставал из шкафа военный бинокль, что, впрочем, тоже было запрещено в отсутствие отца, и караулил мой сигнал. Каждое утро под предлогом школьных занятий в шахматном кружке я ехал узаконенным зайцем в город, чтобы узнать, увидел ли он мой свет.

Летели Персеиды, то есть был август, и в ту ночь после недели дождей установилась такая ясная погода, что из-за степных звёзд не такой уж яркой

казалась лампочка фонаря. Именно после этой ясной ночи Костя сказал, что увидел что-то мигающее в 22:47. Ликование было не очень долгим, потому что мы не обдумали, как нужно запомнить, в каком конкретно месте лампочка загоралась в это время. И тогда мы выменяли наш самодельный телефон на сигнальную ракету у одного придурка из шахматного клуба.

Сначала та страшная ночь, в которую всё решилось окончательно, казалась чистой, но в какой-то момент, когда дачный посёлок был уже очень далеко, стало ясно, что на город со стороны Казахстана надвигается сильный шторм. Молнии в степи злые, потому что бить им некуда, и они хлыстами лупят землю только тогда, когда электрическую злость не удержат.

Наверное, отец решил проверить, не боюсь ли я такой сильной грозы, и не нашёл меня на веранде.

Выключив в очередной раз фонарь, в свете грозовой вспышки я увидел силуэт человека, бегущего по дороге из Колхоза имени Ленина в Ростоши. Молния своей тонкой веткой ударила прямо в фигуру. Силуэт исчез в свете магнетической слепоты и появился у самого моего лица. Весь в поту и с красными опухшими глазами, папа остановился рядом со мной и упёрся руками в колени, пытаясь отдышаться. Я демонстративно снял с пояса аккумулятор и положил на землю, чтобы он не разбился, когда я буду падать от удара. Отец оценил не по достоинству мой героизм, плюнул со злостью под ноги и зашагал в сторону дач. Темнота мгновенно пожрала его, и в этот момент из города белой точкой взлетела охотничья сигнальная ракета.

Мы долго спорили по поводу того, пахнут ли эти поля. В 90-е, как утверждал Костя, их забросили вместе с идеей построить хоть что-то, похожее на коммунизм. При этом точных данных о положении дел в сельском хозяйстве области у нас не было: с виду степь не отличается от хлебного поля. Конечно, я городской и не разбираюсь в полях. Но поле подсолнечников видно даже зимой с почерневшими виселицами скукоженных цветков. Кукурузное тоже не спутаешь ни с чем. А в случае с пшеницей или рожью нельзя верить никому. И мы страшно боялись, что дерево снесут.

Но посаженная на секретном месте берёза выросла. Маленькие бутоны листьев, как пальчики новорождённого, пробились и через год, и через два. Мы ездили на велосипедах поливать её и красить ствол белой краской. Из нашего окна было видно, как в степи, расчерченной нитями ветра, изъеденной колеями, теснимою складами и обрывающейся в заросший овраг, где цветут невидные никому росы подснежников, поднимается наше дерево.

После смены всегда спешить смыть с себя тяжёлый, протухающий запах молока. Главное после этого не уснуть. Потому что из-за ранних подъёмов усталость способна съесть половину твоей жизни.

Стук-стук-стук.

Если где-то остаются кусочки драгоценного детства, то собираются они в короткий промежуток времени в начале каждого осеннего утра, когда ещё не рассвело и не проснулись соседи. С этими мыслями под нарастающие стоны чайника, превратившиеся в итоге в многоголосный истеричный вой, испарились и драгоценные моменты искусственного детства. Змея приятного серого цвета потряхивала хвостом на дне пустого аквариума. В углу комнаты лежала спортивная сумка, в которой чешуйчатая попала в наш дом.

Костя разводил на продажу разноцветных рыб, плавающих туда-сюда, спящих в развалинах пластмассового замка, больших и мизерных. Он заработал на этом приличные деньги. Его единственная подружка всё время куда-то исчезала, но была счастлива с ним, и только через неделю после его смерти она стала понимать, что было их жизнью. Она вспоминала, чем они занимались в те дни, когда он писал эти отвратительные с её точки зрения письма. Она обнаружила их в его телефоне.

Я встаю, отдёргиваю портьеры. В городе ещё ночная холодная синева, но редкие окна уже не освещают улицу, потому что даже один первый проблеск солнца затмевает все фонари и лампы. Меж двенадцатиэтажных столбов в пыльном оранжевом свете видно наше дерево.

Кофе льётся в кружку, перевёрнутая в коробку из-под пиццы пепельница воняет сажей. Горячий напиток дымится на фоне аквариумов, скрывающих

половину комнаты с другими обоями. Аквариумы пусты, покрыты налётом, лежат на дне трубки, дворцы, кораллы.

Рюкзак греет спину, когда холод окутывает на выходе из подъезда. Пустые бутылки ждут горячего шкафа. Кошки ждут грубости и молока. Кресло, которое когда-то было в рубчик, но давным-давно покрылось солевой тёмной коркой, ждёт моей тощей задницы. Я выхожу через торговый зал, чтобы собрать грязную тару. В зале прохладно. Работники магазина появляются в торговом зале, как актёры, с чувством, что идут на сцену, к людям, зрителям.

— Как вы поживаете? На даче что-то сажаете? Уже посадили?

Меня и мою семью знают все мамочки, все папочки, все бабушки и дедушки района. Они знают историю нашей семьи.

Костя родился в 1982 году, я — в 1986. Мне было восемь, когда пришло осознание, что он чем-то болен, а ему тогда исполнилось двенадцать. С братом, больным эпилепсией, нельзя расти так, как с любым другим обычным братом. Это учит толерантности, и у меня до сих пор проблемы с агрессией. Тяжело выгравить понимание, что у каждого человека могут быть свои особенности, непреодолимые и не поддающиеся логическому осмыслению.

Есть такие болезни, которые не ведут тебя к смерти за ручку, но скорее делают её для тебя неприятным соседом. Представьте, что ваш сосед — смерть, которая каждый день уходит на службу, а вечером возвращается, уставшая. Вы можете пригодиться ей сегодня, когда она придёт навеселе с корпоратива и решит поговорить о работе, а можете и через тридцать лет.

Эпилепсия из таких. Что можно сказать о ней ещё? Костины припадки всегда случались не вовремя: на берегу реки, в лифте, в магазине, под Новый год. У мамы в сумочке, как у дрессировщицы, бултыхалась погрызенная палка, обмотанная кожей, словно рукоять кнута.

Мы любили Linkin Park. И когда родители уехали жить в частный дом, оставив городскую квартиру нам с братом, первым делом повесили под потолок огромные колонки, чтобы слушать музыку так громко, чтобы кружилась голова.

В тот день он захотел принять ванну, играла “Metora”. Тридцать шесть минут и сорок три секунды от начала и до конца без пауз, с переходами.

— Не закрывайся, — попросил его я. А он и не собирался, он тоже хотел слышать музыку.

Песня переливалась в другую, удары кувалды мелодично рубили гитарные аккорды, Честер кричал про тяжёлую жизнь и смерть. Потом стало тихо, повисла смертельная тишина. Чуть покачивалась дверь, забитая, как иконостас, плакатами Беннингтона вокруг большого постера, где он скрестил татуированные изображения радужной форели руки на груди. Рыбы в аквариумной стене, привыкшие к шуму, пускали пузырьки. Костя молчал.

Ещё не войдя в ванную, я увидел его лицо под водой, в сантиметре от воздушной глади. Его лицо. У него было такое смешное выражение лица. Оно не разгладилось под моими руками. Не поддалось, как застывший воск, гладкий, принявший форму и не способный меняться. Скользкое тело стало невероятно тяжёлым и осталось в ванной. Бесконечные пятнадцать минут, пока ехала “скорая”, молодой санитар в моей голове входил обутой в нашу ванную и хмыкал, увидев это лицо. Невозможно было не хмыкнуть.

У этого города светогор, красно-белых огней машин, качающихся крон деревьев, молодых девушек, прыщавых парней — я словно за пазухой. Комната слилась с улицей во мгле, космос уставился на неё миллионами звёзд, холодит кожу влажная корка старого дивана. Дело в том, что в этом мире воспоминаний о зыбком прошлом и воспоминаний о желаемом будущем, которое выныривает всегда неожиданное, как финал Агаты Кристи, в прошлом мы уверены не больше, чем в будущем.

Надеюсь, что когда-то появится племя людей, способных оценить мой жизненный опыт. Внуки и правнуки соберутся слева и справа от потёртого кресла и услышат, что все мои работы были прекрасны и равны. Они вели меня к главной мудрости всей жизни: первый день после увольнения — лучший день рождения.

Самый маленький из аквариумов Кости поместился без труда в спортивную сумку для моей рабочей одежды. Район спал, коты давно разошлись. В очереди на дачный автобус, как всегда, необъятные старушки в плиссированных юбках и растянутых кардиганах говорили о важном.

По трассе от Ростошей до колхоза имени Ленина минут сорок пешком, и ещё полчаса до нашего дерева в сторону оврага.

Довольный змей прополз метров двадцать по остывающим камням, вытянулся в вопросительный знак и, не обращая на меня внимания, принялся ловить комаров. Моя спина почувствовала крошащийся глиняный выступ. Я расставил руки и представил, что лежу на груди этого города, словно крестик, висящий на нитке.

Эта нитка никогда не придёт в общий клубок, но метнётся над шеей города-великана, обогнёт поля, пролетит под ступенями молочной кухни, зацепит колокольчики на кофейной будке, шмыгнёт в пролёт между двенадцатиэтажными столбами и улетит к нашей полосе степи. А потом сделает вираж, пойдёт на новый виток и будет ходить по этому кругу без конца. Почти без конца.